

Говорят, Бога нет, а есть законы физики, и законы химии, и закон исторического материализма. Раньше, когда я был здоров, Бог был мне не нужен. А законы физики, и законы химии, и закон исторического материализма объясняли мне все и насыщали верой в порядок мироздания и в самого себя, когда я был здоров. Но теперь, когда душа моя больна — больна душа моя, больна, в этом нет сомнения — мне не помогают законы физики, мне не помогают законы химии и закон исторического материализма. Вот если бы Бог был, ну не Бог, а хотя бы что-то высшее, чем законы физики, и законы химии, и закон исторического материализма, я бы сказал ему: я болен. И оно бы ответило: это верно, вот беда какая, ты болен.

— На фронте была далеко идущая мечта: потом, потом, когда кончится война, когда совсем кончится и все уже будет позади, тогда чтобы мне разрешили пускай не жить, к чему такая крайность, но просто оказаться там и просто удивиться — что будет потом, потом, когда совсем, совсем... И мне разрешили. И не просто видеть, а подниматься и опускаться, обижаться и не обижаться, напиваться и не напиваться — еще тысячу всего только на эту рифму, еще сто тысяч на другие... Стыдно быть несчастным! А женщины, самые, казалось бы, несовершенные, иногда говорят такие слова, и так смешно шутят, и так пронзительно думают о нас, чтобы нам было лучше и чтобы нам было сладко с последней из всех, как с первой из всех. И то и дело это им удается. То тут, то там, то так, то сядь, а если не удастся, они страдают молча, а если и говорят, то иногда говорят такие слова... Стыдно быть несчастным! И каждый раз, когда я несчастлив, я твержу себе это: стыдно, стыдно, стыдно быть несчастным!

— Для меня поэзия была главным искусством, которое приходило на фронт, и после театра было для меня самым близким. Но писать о войне мне никогда не хотелось, как не хочется писать о трудном, страшном, мучительном — проносящихся и сквозных ранениях, о госпитале на 200 человек, о том, как посередине стояло ведро, в которое все опрыскивалось... Мне легче писать о том, что любит, что тянет к себе. Поэтому первое время я о женщинах только и писал.

Простите, простите, простите меня. И я вас прощаю, и я вас прощаю. Я зла не держу, это вам обещаю, но только вы тоже простите меня. Забудьте, забудьте, забудьте меня. И я вас забуду, и я вас забуду. Я вам обещаю — вас помнить не буду, но только вы тоже забудьте меня. Как будто мы жили разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас уважаю, я вас уважаю. Но я на другой проживаю. Привет.

— Нас учили писать сценарии таким образом. Вот как будто что-то происходит. Ее любит один, который эгоист, и другой, который избрал верный угол заточки реза. Угол заточки реза почему-то имел тоскальное значение в стране. Тому, который нашел правильный угол заточки реза, она отвечает на любовь, и все идет на лад. Но потом этот сюжет кончается, а сценарий должен быть определенного размера. И нас учили: надо выйти на простор обобщен-

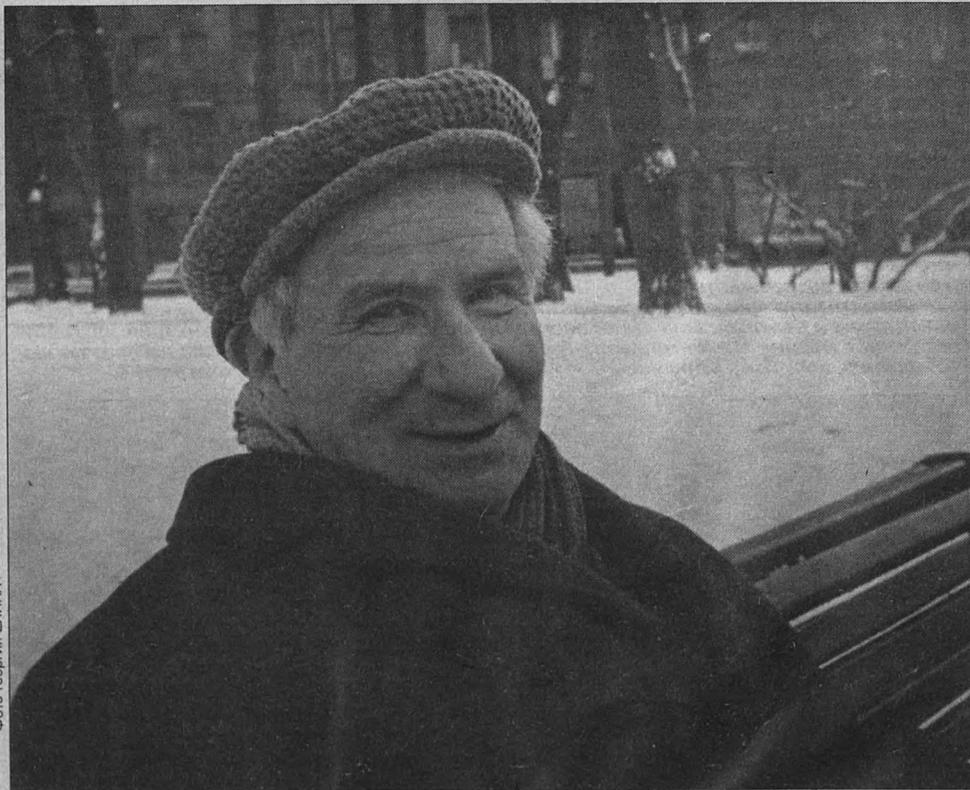


Фото Георгия ЕЛИНА

Новая газ. — 2007 — 27 сев. — с. 23.

НИКОГДА НЕ ТОЛПИЛСЯ В ТОЛПЕ

Александр Володин:

ний. И вот герой уезжает на целину, и там происходит что-то похожее, девушка приезжает к нему... Поэтому я не хотел писать сценарии ни за что.

— Потом мои пьесы стали запрещать. Несколько пьес так и пролежали тридцать лет. Я стал работать в кино... «Осенний марафон» — это просто дневник моей жизни. Картину эту поставил Данелия очень точно и очень хорошо. Оказывается, у него тоже было что-то подобное в жизни. Этот сценарий тоже запрещали. Директор студии говорил так: «Конеч надо переделывать, надо наказывать этого героя. Ну представьте, придет трупяга в кино и увидит, что у этого Бузыкина две такие бабы — Гундарева и Неелова, — а мы его не наказываем». И тогда я сообразил и сказал Данелии: «А ты ему скажи, что они все равно от него уйдут». И тогда директор говорит: «Ну, мать вашу так, тогда другое дело, раз все равно уйдут, так бы сразу и сказали».

Никогда не толпился в толпе. Там толпа, тут я сам по себе. В одиночестве поседев, по отдельной бреду тропе. Боковая моя тропа, индивидуализма топь. Где ж толпа моя? А толпа заблудилась среди прочих толп.

— Когда начались сомнения? Когда началась отдельная от государства жизнь? Точнее сказать, не мы от него отделились, а оно от нас отделилось, дало понять, что не нуждается в наших мнениях. А нам то и дело стыдно за него. За другие государства не стыдно, они не наши, а за это стыдно. Все, что оно делало, это как бы мы делали, и все, о чем оно врало, как бы мы врали. Когда наши танки вошли в Чехословакию и когда наши танки вошли в Венгрию — вот за такие вещи было стыдно... На следующий день, когда мы узнали, что наши танки вошли в Чехословакию, я был в ресторане. Я встал, обернулся к большому

В Питере на Петроградской стороне живут особенные люди. Там жил Александр Володин. Мне повезло познакомиться с этим человеком — семь лет назад мы снимали о нем фильм. Фильм в жанре монолога: Володин о Володине. Ведь неблагодарное это дело — спорничать с драматургом. Лучше, чем говорил о жизни и о себе он сам, сказать трудно. Его удивительные зарисовки-размышления, непосредственные, казалось, только сейчас впервые слетевшие с языка, рассказывали об эпохе больше иных томов. Грустное знание влюбленного в жизнь мудреца... Слово — Александру Володину...

залу и стал кричать: «Стукачи, выньте карандаши и блокноты! Я — за свободу, демократию и Чехословакию!» — никто не вынимает, не стало тихо. Я еще громче: «Стукачи, выньте карандаши и блокноты, я — за свободу, демократию и Чехословакию!». Но вот я поорал-поорал — такой был взрыв, — но не ходил я с теми семерыми на Красную площадь, не было у меня таких поступков, за которые отправляют в лагерь.

— Давно уже известно, что у каждого должно быть хобби — какое-нибудь увлечение помимо профессии. На Западе — там у всех есть. Уже и у нас почти у всех моих знакомых давно есть по своему хобби. И я стал скорее искать, какое бы хобби завести мне. В первую очередь приходит в голову, разумеется, фотография. Можно снимать направо и налево, прямо на улице, детей и женщин, которых больше никогда не увидишь. А так они у тебя остаются. Но это хобби у меня не получилось? Непонятно. Тогда придумал другое хобби — путешествовать автостопом. Поднял руку, остановил машину — и поехал куда глаза глядят. Но и это не вышло. Никуда я не поехал. Пожалуй, потому, что это неудобно — ни с того ни с сего остановить машину, мало

ли, а может, ему неохота. Так я придумывал хобби одно другого интереснее, но ни одно не получилось. А потом я понял почему. Потому что у меня уже было хобби. Вот так тихо и незаметно было. Не лучше, чем у других, и не хуже. Оно появилось само по себе, и довольно давно уже это хобби, тогда и названия еще такого не было. И ни у кого, кроме меня, еще не было хобби, а у меня уже было. Это хобби — с кем-нибудь выпить. Лучше всего — с незнакомыми людьми. Не родственники, не начальники, не подчиненные, просто повстречались несколько человек на одном и том же земном шаре.

Только ранним солнечным утром и может это присниться. Дождь по крышам погездов и дождь по крышам домов, по сыртым лиственным деревьям. И черное небо, потому что сниться ночь. Но окна почему-то освещены. Там, за ними, живут люди, которым ты не нужен. Сейчас мы еще незнакомы, но потом, в будущем, ты отдашь им свою жизнь и будешь умирать под этот белый шум дождя, а они выйдут и будут тихо стоять вокруг...

● **Записал Николай ДОНСОВ Санкт-Петербург**

ОН ВСЕГДА ОСТАВАЛСЯ УМНИЦЕЙ, ПЬЯНИЦЕЙ, РАБОТЯГОЙ

Исключительный человек, исключительный писатель. Через болезни, потери, душевную тоску всех последних своих лет он так тянулся, напрягался: жить, жить, продолжать, что-то делать, помогать, любить людей, понимать их, жалеть, беречь друзей, дружбу, страдать, через муку и свое истерзанное сознание — жить, жить.

Странно, мало кто знал, что он пишет стихи: поэт, закодированный в нем изначально и осуществившийся за долгую жизнь в прекрасных пьесах, завоевавших весь мир, всю страну, в рассказах, в лирической прозе, прорывался и в своем чистом виде — стихотворчестве. Прочитайте его стихи — они нарочито простые, глубоко печальны, полны смятенных и высоких чувств.

Он был чрезвычайно чувствителен, тонок, раним, человек. Прожил трудную долгую жизнь, знал войну, раны, боль, бедность, слышал медные трубы славы. Всегда оставался самим собою: умницей, пьяницей, работягой. Все пьесы его — шедевры, золотой фонд нашей послевоенной литературы, театра: одни «Фабричная девчонка» и «Пять вечеров» чего стоят!

«Живой классик», — говорили про него. Он стеснялся, вообще скромность и застенчивость этого человека, бесконечная доброта и делали его исключительным. И писательская исключительность зияла на подлинном, редком таланте, на

чистой душе и характере, лишенном тщеславия, самодовольства, сознания своей значительности, как водится среди братьев-писателей.

Он стеснялся даже именоваться, выступать в роли писателя. Несомненно, осознавал свой дар, свое место, но — боже упаси! — чтобы хоть когда-нибудь, где-нибудь кичиться, похвастаться сделанным, выдлить себя, заломить шляпу. Навсегда останется тихим, скромным, в кепочке своей, умным, свободным, непокорным потихоньку, без бравады и размахивания руками.

Все, ушел теперь к своим скульптурным, настоящим классикам, перешагнул в другую жизнь. У неживых классиков она долгая, у кого и вечная. Будем думать, что так. Будем помнить его, читать, ставить на театре, припоминать милые и смешные мелочи, выпивать за него стопку.

Пусть живет, остается среди нас, не меркнет, толкается среди актеров, студентов, смеется с молодыми девушками и женщинами, которых всегда так трогательно и нежно любил, воспевал и обожествлял, как положено истинному поэту. Долго-долго оставался молодым, много-много был счастливым, сверх-сверх наболел душой в этом мире. Прощай, Александр Моисеевич, ты принес людям много счастья и радости — да отзовутся они в человеческой памяти. Не пропадешь, не исчезнешь. Будешь, будешь жить, жить, жить!..

● **Михаил РОЩИН**



В кругу семьи

ПО ВЕЧЕРАМ ИДЕТ СНЕГ И ТРЕВОЖИТ СЕРДЦЕ ВОСПОМИНАНИЯМИ

Когда-то я присутствовал при разговоре Георгия Александровича Товстоногова и его завлита Дины Морицовой Шварц. Товстоногов раздраженно сказал про Володина: «Так что, вы считаете, что это Чехов?». «Да, — подпрыгнула в кресле Дина, не выпуская папиросы изо рта, — мы умрем, и тогда выяснится, что он — Чехов».

Оба оказались не правы. Умер Володин, и оказалось, что он — Чехов.

Его жизнь в самом трагическом варианте повторила его лучший и смешной сценарий — «Осенний марафон».

А «Пять вечеров» и «Старшая сестра» — это классика.

Александр Володин — полный революционер в театре. На нем закончился агрессивный идеологизированный советский театр. На сцену вышла нормальная советская жизнь. И рухнули Вишневский и Тренев.

За это Володина и ненавидели.

Однажды он сидел на коллегии Госкино, где обсуждался его сценарий. Он слушал-слушал, потом встал и тихо сказал: «А идите вы все к е... матери!»

Все настолько обалдели, что попросили повторить. Тогда он повторил громко. И вышел.

Я был молодым режиссером в БДТ, где на моих глазах рождался его спектакль. (И жили мы долго-долго в квартире в квартиру.) И даже тогда, весьма нигилистически настроенный, я понимал, что рождается новая эпоха.

Единственное, чего не надо было делать, — это отдавать ему на рецензию сценарий: он всех жалел и на всех писал восхитительно трогательные рецензии.

В его «Пяти вечерах» нет слов, которые в спектакле за сценой произносил голос Товстоногова:

«Зима. По вечерам идет снег. Он пахнет морозом и тревожит сердце воспоминаниями». Я уже два дня повторяю эту фразу.

● **Алексей ГЕРМАН**